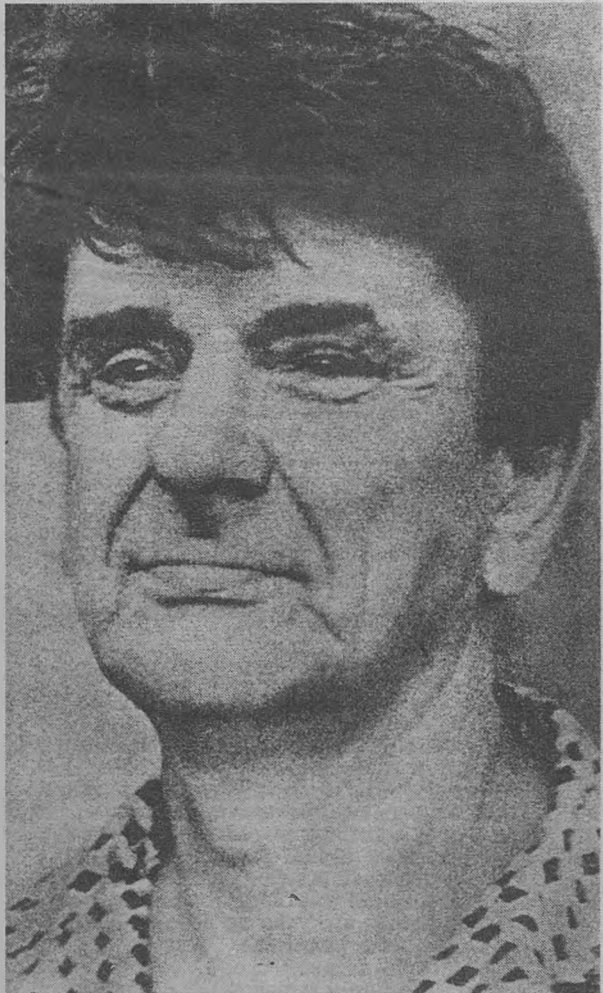




ЕСТЬ ЧУВСТВУ УГОЛОК...»

в Голицыне)

Директор быстрым шагом вошел в здания, а я спороша шофера, не струсил ли чего в Доме, чем так встревожен Михаил Иванович, обычно уравновешенный и спокойный.

— Неладно у нас, — ответил шофер. — Прилепились к Домбровскому двое пьянчуг, передают его из рук в руки, как переходящее знамя. Сами не работают и ему не дают. Спасу нет...

В начале мая, когда я приехала в Голицыно, Юрий Осипович опять был в хорошей форме, потому что за это время успела приехать Клара Файзулаевна, — а ее присутствие действовало на Юрия Осиповича целительно — и привезла Касю. Все эти дни Домбровский писал часами, а это было нелегко: еще сильнее, чем в прошлом году, его мучило сознание, что «Факультет ненужных вещей», который отнял у него столько лет жизни, напечатан не будет. Последний проблеск надежды угас...

Юрий Осипович сдержал свое обещание и на этот раз привез в Голицыно тяжеленную рукопись «Факультета» — было в ней страниц восемьсот, не меньше... Все те, кому он доверял, запершись по своим комнатам, пугали машинописными листками, потихоньку ими обмениваясь.

Впечатление от книги было ошеломительное. С тех пор я читала ее еще трижды: в 81-м г. — в тамиздате девять лет спустя — в «Новом мире», а еще через год — в отдельном издании, выпущенном «Советским писателем». И все же то и дело возвращаюсь к ней, зачарованная мастерством и силой, с которой выражена в ней великая мысль автора. Мне кажется, что Домбровский, как и главный герой романа Зыбин, в известном смысле был сыном своего времени — только, если так можно выразиться, с «обратным знаком»: в мощном противостоянии ему он в нечеловечески страшных условиях оставался равен себе самому, и тем доказывал, что нельзя уничтожить непреходящие нравственные ценности — то есть именно то, что временем этим было осмеяно и перечеркнуто как «ненужные вещи»: совесть, честь, чувство собственного достоинства и внутренней свободы.

Помню, что в первом — машинописном — варианте романа одну из его частей предвещал такой эпиграф:

«Из чего твой панцирь, черепаха?» —

Я спросил, и услышал в ответ:

«Он из мной пережитого страха,

И брони надежней в мире нет».

Думаю, что эпиграф этот, хоть и очень сильный, Домбровский снял не случайно: вся его жизнь, все его книги, свидетельствуют как раз о величайшем мужестве, об оплаченной такой невероятной ценой победе человеческого духа над страхом...

...Весенняя идилия 1977 года оказалась, увы, непродолжительной. События развивались по такой схеме: кто-то сообщил в Литфонд про кошку, жене Домбровского пришлось увести злополучную Касю в Москву и остаться там с ней. После этого Клара Файзулаевна смогла выбраться в Голицыно один только раз — 12 мая. То был предпоследний день рождения Юрия Осиповича.

Поздравить его приехали испытанные друзья — художники и писатели (из них особенно мне запомнился талантливый исторический романист — Юрий Владимирович Давыдов, с которым Домбровский, обдумывая проблемы народничества, не раз вел беседы о Бурцеве, об Азере. Юрий Осипович обежал дом, приглашая на день рождения всех, к кому был расположен. Именно обежал — двигался он размашисто, как размашист был и его талант, по деревянной лесенке старого двухэтажного здания спускался бегом — прыгал через две ступеньки, наполняя весь дом грохотом.

Как хорошо, счастливо начался этот вечер, как весел и оживлен был Юрий Осипович, окруженный любящими его людьми, понимающими истинные масштабы его таланта!

После того, как подняли первый тост — за новорожденного и второй — за непьющих, Юрий Осипович стал рассказывать забавные истории, вызывавшие дружный хохот. Тут надо сказать, что был он великий фантазер, именно фантазер, ибо в выдумки свои искренне верил. Поэтому, рассказывая не единожды какой-нибудь эпизод из своей жизни, он всякий раз, от избытка неумной творческой фантазии, подавал его по-новому. Так что у тех, кто будет писать воспоминания о Домбровском, рассказы эти, вероятно, будут различаться в деталях, зачастую — весьма колоритных.

Вот как Юрий Осипович рассказывал в тот вечер одну из своих излюбленных историй, вошедших, по его словам, в книгу Александра Лесса «100 историй о писателях». Еще раз позволю себе привести услышанный мной вариант в прямой речи — так, как он был записан по свежему следу.

— Жил я тогда, вскоре после освобождения, в Москве, у Колхозной. Является раз маленький пожилой еврей, до того плюгавый — Гитлер при виде такого пять дней от радости потирал бы руки. Тащит с собой корзинку. Вошел в кухню и спрашивает: «Кто здесь будет Домбровский?» «Ну я, говорю, а что?» Он не верит, требует документ. А какие тогда у меня были документы? Только справка об освобождении. Бегу в комнату за справкой, даю ему, он спокойно так, неторопливо ее изучает — пе-

чати рассматривает, подписи. Потом вынимает из корзинки пуд бумаги и подает мне. Я обалдел: да это же мой роман «Обезьяна приходит за своим черепом»! Рукопись у меня в 49-м году при аресте изъяти, я был уверен, что она сгинула без следа. А тут вдруг такое...

— Понимаете, — говорит он, — приехал я в Москву, повидать своего мальчика. А рукопись эту хранил у себя. Перелистал ее — так, ничего особенного. Мне не понравилось. Но вот, думаю, поеду в Москву, повидать своего мальчика, отвезу рукопись человеку, может быть, он за ней страдает.

— А кто вы? — спрашиваю.

— Понимаете, — говорит он, — я у них архивариусом работал. Стали они жечь бумаги, так я подумал: это же целая книга, зачем ее сжигать, может быть, человек за ней... переживает. Вот поеду повидать своего мальчика, отвезу человеку книгу...

Я заметался, благодарю его, как сумасшедший, кинулся по соседям занимать деньги — у меня тогда в карманах ветер гулял, сую ему их.

А он мне, поводя указательным пальцем:

— Ну, нет. Вы думаете, одной еврейской башкой будет меньше, так что с того? Но она ж у меня единственная и пока что не надоела...

Рассказывал это Юрий Осипович артистически, так имитируя речь старика, что мы валились со стульев, но одновременно и восхищались отвагой и честностью маленького архивариуса.

Поведал нам Юрий Осипович в тот вечер историю куда менее веселую — о каком-то поэте из Алматы, которого он считал своим другом, а тот написал на него донос, где, в частности, говорилось, что он, Домбровский, не считает Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Показания «друга» стали одним из поводов для очередного ареста Юрия Осиповича — в 1949 году. И вот, рассказывал он, «друга» приводят в кабинет следователя для очной ставки с ним. «Друг» стоит, мнется, а Юрий Осипович, потрясенный, его предательством, кричит ему:

— Да я на тебя еще до посадки накапал! Теперь жди, тебя вот-вот загребут!

— Провокатор! — заорал на Юрия Осиповича следователь. «Друга» вынесли в обмороке, а Домбровского поволокли в карцер...

А наутро Клара Файзулаевна уехала в Москву — ей надо было «пасти» высланную из Голицына Касю. И те двое пьянчуг, о которых уже говорилось, (назовем их условно как булгаковских персонажей — Кот и Коровьев, на которых они, кстати, смахивали), снова принялись за свое черное дело. Работа у Юрия Осиповича опять прервалась. Несколько дней из коттеджа доносились громкие возгласы. Коровьев выдавливал деньги из тех обитателей Дома, кто не имел мужества ему отказать — а таких, увы, было подавляющее большинство. Кот Бегемот, вдребезги пьяный, во время завтрака упал в столовой и захрипел — выносить его пришлось четверым. У директора лопнуло терпение и он тут же, в столовой, объявил, что выписывает из Дома творчества всех обитателей коттеджа.

Юрий Осипович, в сущности, ни в чем не повинный, ибо был явною жертвой этих двух, взмолился:

— Михаил Иванович, прошу тебя, будь человеком, оставь меня хоть на неделю, а то мне зарез — ра-

бота ведь договорная, сам понимаешь.

И директор, по-человечески очень ценивший Домбровского, пошел ему навстречу. Шум в коттедже утих, Юрий Осипович снова впрягся в «неприятный роман».

Ранним утром, выйдя во двор, я обрадовалась: в окне второй комнаты коттеджа ритмично — слева-направо, справа-налево — качалась чубатая голова. Домбровский писал. Слава Богу! Но оказалось, что радоваться было рано. В девять он вышел к завтраку неверной походкой и потянул на себя скатерть. В столовой воцарилось безмолвие, и в этой гнетущей тишине я неожиданно услышала свой голос:

— Негодяю, который сейчас учинил над ним эту подлость, я бы собственною рукой проломила череп!

Это я-то, неспособная не то что человека ударить, а кошку толкнуть... Но очень уж больно было видеть, что очередная попытка Домбровского докончить камнем висевший на нем роман срывается. Хотя чувство мое разделяли многие, столовая по-прежнему молчала.

Из-за общего стола вышел Коровьев (правда, в отличие от своего литературного прототипа, он был весьма элегантно одет, и вместо пенсне с одним стеклышком носил очки в супермодной оправе). Развинченной походкой он двинулся к столу, за которым сидела я. Подошел ко мне и картинно склонил искусно причесанную голову — очевидно, в расчете на мое высшее образование. Но я, слабосилка, и в самом деле от души стукнула его по набриолиненной макушке. «Пострадавший» взглянул на меня с неподдельным изумлением и той же вихляющей походкой отправился на свое место... Тут столовая зашумела.

— Молодой человек, — воскликнула отнюдь не сентиментальная Нина Дмитриевна Комовская, — как вам не стыдно! Вы думаете, мы не видим — вы вредите Домбровскому намеренно!

После этого взрыва народного гнева коттедж опять притих. Юрий Осипович больше уже работы не бросал. Мы снова ходили радостные: Домбровский пишет!

Но и этот счастливый просвет быстро закрылся — притом совсем уж неожиданным образом. Однажды, когда Кот Бегемот, упившись в одиночку, спал на веранде коттеджа каменным сном, в Голицыно нагрянула его жена — крутая, крепкая женщина. Увидев такую картину, она стала хлестать своего благоверного по щекам.

Случилось так, что именно в эту минуту я вошла в коттедж — отдать Юрию Осиповичу взятую у него книгу. Бегемот все не просыпался, а супруга все хлестала его по физиономии.

Юрий Осипович, с головой ушедший в работу, выскочил из своей комнаты на шум, как был — в стареньком костюме, с расстегнутой у ворота рубашкой — и стал умолять разошедшуюся бабу:

— Ради Бога, перестань! Пойми — не могу я видеть, как человека бьют по лицу!

Но пощечины сыпались все быстрее и быстрее. И тогда Юрий Осипович, прошедший, не склонив головы, через ссылки, тюрьмы и лагеря, — стал перед злобной бабой на колени.

— Умоляю тебя, перестань!

Но разъяренная Бегемотова жена не унималась.

И тут Юрий Осипович вскочил с колен, бросился к себе в комнату, пошвырнул бумаги и нехитрый свой скарб в чемодан, вышел уже передодетый, взял книгу, которую я молча протянула ему, и уехал, ни с кем не простившись. Больше я его никогда не видела. Жить ему осталось всего год...

Надо сказать, что Юрий Осипович, обладавший даром провидения, предчувствовал скорую смерть. В апреле 1977 года он дал мне прочитать «в машинке» только что им написанный рассказ «Ручка, ножка, огуречик...», увидевший свет лишь тринадцать лет спустя. Тогда мне показалось, что для автора такой книги, как «Факультет ненужных вещей», рассказ слабоват. И лишь много позднее я поняла, что это был крик боли: в последний год Юрия Осиповича не оставляла мысль о скорой кончине, и он на разные лады пытался представить ее себе...

Вспоминается мне и такое: как-то утром, в мае 1977 года Юрий Осипович, в длинном халате, сидел, свесив голову, в прихожей Дома творчества около телефона — видимо, только что говорил с Москвой и был еще под впечатлением разговора. Когда я проходила мимо, он поднял глаза и негромко, печально проговорил:

— Знаешь, я положил голову на плаху...

Расспрашивать его я не стала. Догадаться было трудно: после всех мытарств с «Факультетом», понимая, что у нас вещь опубликована не будет, он с отчаяния решил напечатать главную книгу своей жизни на Западе. И понимал, чем рискует. Ведь на дворе, повторяю, стоял семьдесят седьмой год.

Как рассказала мне Клара Файзулаевна, за три месяца до смерти он успел получить из Парижа любимое свое детище, изданное ИМКА-Пресс на русском языке...

Закончить эти записки мне хотелось бы тем же, с чего я начала: словами благодарности Юрию Осиповичу Домбровскому голицынскому Дому писателей — словами, в которых выражена самая суть его высокой, светлой души:

«...Так вот, спасибо, спасибо этому дому, его второй комнате в коттедже. Его доброму, хорошему директору. Его доброму персоналу.

Над словом «добрый» у нас привыкли посмеиваться («он просто добрый», «добренький» и это ведь чуть ли не ругательство). А оно — великое Слово. Оно одно из самых великих слов, когда-либо произнесенных человеком. Им Сервантес закончил «Дон Кихота». Никак мне этого не забыть!»

Суламифь МИТИНА.

Голицыно, 1992.